

З. Гиппиус

Дневники

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Г50

Г50 Гиппиус З.Н.
Дневники / З. Гиппиус – М.: Книга по Требованию, 2022. – 190 с.

ISBN 978-5-4241-1531-8

В книге впервые собраны и издаются в полном объеме все известные в настоящее время дневниковые записи Зинаиды Гиппиус (1869-1945), одной из крупнейших представительниц жанра литературных дневников и мемуаров в русской литературе. Женщина ярких и сильных чувств, непреклонных симпатий и антипатий, Гиппиус оставила интересные зарисовки своих современников, жизни Петербурга до революции и первых революционных лет. В центре дневников после 1917 г.- трагедия русской интеллигенции, выброшенной октябрьскими событиями в зарубежье.

ISBN 978-5-4241-1531-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022
© З.Н. Гиппиус, 2022

Гиппиус Зинаида
Дневники

Зинаида Гиппиус

ДНЕВНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (Н. Берберова)

История моего дневника

Синяя книга

Черная книжка

Серый блокнот

ПРЕДИСЛОВИЕ

(Все права предисловия и примечаний к тексту принадлежат Н. Н. Берберовой.)

На старом издании "Синей книги" (первом и единственном) помета: Белград, 1929. Эта помета требует объяснения.

Русская эмиграция имела между двумя войнами (1918-1939) несколько центров. Это были Париж, Берлин, Прага, Варшава, Рига и Брюссель. Это не значит, что в Лондоне, Риме и Женеве не было русских. Они там были. Но кроме ресторанов с русской едой и православных церквей никакого другого места объединения мы бы там вероятно не нашли. Такие города, как Гельсинфорс и Харбин главным образом были населены людьми, еще до революции (в большинстве после 1905 г.) жившими в Финляндии и Сибири. Они не считали себя эмигрантами, они были там постоянными жителями.

В Риге выходили две ежедневные газеты, утром и вечером, была русская гимназия, русское "меньшинство" голосовало в латвийский парламент. В Бельгии была русская молодежь, учившаяся главным образом в Лувенском университете, была большая группа русских католиков, были русские врачи, русско-еврейский литературный клуб. В Берлине, вплоть до прихода Гитлера к власти, выходила газета кадетов "Руль", и все еще доживали свой век одно или два русские издательства из тех, которые открылись в 1920-х г.г., когда их там было несколько десятков.

В Праге, по сравнению с Парижем, средний возраст русских эмигрантов был моложе. Это может показаться странным, принимая во внимание, что Вас. Ив. Немирович-Данченко, жившему там, было уже за 80 лет, и внушительное число русских университетских профессоров, там преподававших, было весьма почтенного возраста. Однако "масса" была молодая. Президент Чехословакии, Томас Масарик, после периода эвакуации с юга России и Крыма и расселения большой части русских на Балканах, открыл двери чешских университетов для русской эмигрантской молодежи, и с его помощью была открыта русская гимназия. Что касается Белграда, то царствующий там, в Сербии, царь Александр (убитый во Франции в 1934 г. хорватами) в самом начале 1920-х г.г. предпринял шаги, чтобы удержать некоторых русских антибольшевиков с семьями у себя в стране. Это были люди крайне консервативных, или вернее - реакционных кругов Петербурга, бывшие чиновники царского правительства, Сената и Синода, военные, высшие чины Добровольческой армии и кое-какая аристократия. Из них очень многие скоро очутились на казенной службе в Сербии. Дети их, подрастая, постепенно старались сбежать в Париж.

Для тогдашнего сербского правительства и царя Александра, а также для большинства русской эмиграции в Сербии, трагедией была не только революция

Октябрьская, но и революция Февральская. Но кое-какое понимание того, что произошло, все-таки было, если не в русских кругах, то в кругах сербской и хорватской интелигенции. И в Академии наук профессор А. А. Белич¹, ее президент, живший, учившийся и учивший когда-то в России, проявил инициативу, и правительство решило начать выплачивать ежемесячное пособие знаменитым и старым русским писателям, оказавшимся в эмиграции (и не только живущим в Белграде), а также дать средства для учреждения эмигрантского издательства для издания их сочинений; параллельно решено было в 1928 году устроить в Сербии Зарубежный съезд, для объединения русских политических и культурных деятелей в рассеянии.

Пособие, выплачиваемое русским писателям-эмигрантам (знаменитым и старым), было небольшое, но оно высыпалось регулярно. Мне известны 8 человек в Париже, которые получали его, но я полагаю, что не мало людей в самом Белграде, а также вероятно в Праге, состояли в списке. Пособие составляло приблизительно 300 франков в месяц на человека. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила тем же лицам из Праги, из собственных сумм президента Масарика. На 600 франков в Париже в те годы прожить было нельзя, но они могли покрыть расход по квартире, по электричеству, газу, метро. Этого было не много, но это было хоть что-то. Сербская субсидия, насколько я помню, кончилась после 1934 г., чешская продолжалась до 1937 г. Они давали возможность писателям (знаменитым и старым) писать, в то время как актеры садились за руль такси, бывшие профессора разносили пирожки, один из бывших членов Временного правительства открыл прачечную, где собственоручно считал и стирал грязное белье клиентов. Ему помогала жена.

Эти восемь человек были: Мережковский, Гиппиус, Бунин, Ремизов, Зайцев, Теффи, Куприн и Шмелев. Ни Марина Цветаева, ни В. Ф. Ходасевич никогда казенных регулярных субсидий не получали: они не были ни достаточно стары, ни достаточно знамениты.²

По плану, одобренному сербской Академией и королем, проф. Белич выпустил около 40 томов русских авторов, поколения людей, начавших свою литературную деятельность около 1900 года. Не могу сказать, были ли выпущены издательством книги авторов, не включенных в списки субсидий, кажется, таких не было. Две книги Мережковского были выпущены, три книги Шмелева, две книги Куприна, рассказы Теффи, Ремизова, и другие. "Синяя книга" Гиппиус вышла спустя полгода после Зарубежного съезда. Рукопись чудом вернулась к ней в руки из Советской России в 1927 г.

Она оставила ее в Петрограде, когда уезжала, и считала ее навсегда потерянной.

Личное знакомство эмигрантских писателей с проф. Беличем, а также прием у короля, произошли именно в дни Зарубежного съезда, на который поехала главным образом та часть парижской эмиграции, которая считала себя непримиримой не только по отношению к Октябрьской революции (ее, естественно, не признавала вся эмиграция, иначе зачем было ей жить в изгнании?), но и к революции Февральской. Разумеется, ни либеральный демократ П. Н. Милюков, редактор "Последних новостей", ни журнал "Современные записки" к Зарубежному съезду никакого отношения не имели. Это отнюдь не означает, что произошел разрыв между печатавшимися в издательстве проф. Белича и этими издани-

ями. Все понимали, что обеим сторонам приходится идти на компромисс. Да и среди поехавших на белградский съезд не все одинаково легко решились на этот шаг: Зайцеву и Ремизову сделать его было нелегко, Шмелев, Куприн и Бунин поехали с надеждами. Главной фигурой на съезде был глава синодальной церкви заграницей, митрополит Антоний, крайний реакционер, раскололший православную церковь в эмиграции.

З. Н. Гиппиус пережила два счастливых момента в связи с "Синей книгой". Первый был, когда друг секретаря Мережковских, В. А. Злобина, жившего у них в доме, неожиданно приехал из Ленинграда и привез З. Н. ее старый дневник. Второй момент был, когда Белич издал эту книгу. Ни в "Современных записках", ни в издательстве, связанном с ними, такая книга издана быть не могла. Несмотря на перемены в умах (или вернее - душах) четырех редакторов, членов партии социалистов-революционеров, старые принципы в них были живы, пример отказ их напечатать в журнале ту главу "Дара" Набокова, где была иронически подана "жизнь Чернышевского".

Прямого бойкота Гиппиус ни со стороны газеты Милюкова, ни со стороны эс-эровского журнала не было. Бойкот - роскошь, которую эмигранты не часто могли себе позволить. Автор был нужен русской печати, русская печать была нужна автору. Но охлаждение произошло - и с Милюковым, и с Керенским, и с Бунаковым (один из четырех). Раны постепенно залечились, но рубцы остались. Кадетов З. Н. никогда не любила (это была до революции партия конституционно-монархическая); Бунакова она временно вычеркнула из числа близких друзей. (Позже она писала о его "неумной слабости", считая его "все-таки человеком... симпатичным"). Что касается Керенского, то она соглашалась с мнением Савинкова о нем, когда Савинков говорил, что для Керенского "свобода - первое, а Россия - второе". Мережковские в свое время, еще до 1917 г., были знакомы с Керенским и даже "любили его".

Самого Савинкова она никогда не понимала: одно время он значил для нее больше всех остальных, но очень скоро она усомнилась в нем, а затем - предала анафеме. Но самой большой катастрофой было сначала расхождение, а потом и разрыв с давним другом ее и Дмитрия Сергеевича, Дмитрием Владимировичем Философовым, с которым они много лет жили под одной крышей и с которым теперь (1918-1921) потеряли полностью общий язык.

Есть несколько причин, почему "Синяя книга", оказавшаяся снова в наших руках после пятидесяти лет, будет прочитана и перечитана, и не будет забыта. Она принадлежит к числу исключительных документов исключительной эпохи России (1914-1920) и бросает яркий (и безжалостный) свет на события, потрясшие мир в свое время. Все главные участники - видные деятели Февральской революции и личные знакомые (или даже близкие друзья) Мережковских. Впрочем, сказать "обоих Мережковских", пожалуй, будет не совсем справедливо. Д. С. всю жизнь интересовался книгами, идеями и даже фактами (правда не личными фактами отдельных людей, но фактами общественно-историческими) гораздо сильнее, чем самими людьми. З. Н. - наоборот. Она каждого встречного немедленно клала, как букашку, под микроскоп, и там его так до конца и оставляла. Конец мог быть ссорой, или расхождением, или вынужденной разлукой, или "изменой" (не ее, своих измен она никогда не признавала, "изменяли" ей. У нее даже есть строка в стихах: "Я изменяюсь, но не изменяю", и спорить с этим

утверждением было бы безрезультатно). Под микроскопом лежали и Иван Петрович, и Петр Иваныч, и Борис Викторович, короткое время находился там и А. Ф. Керенский, и всю свою долгую жизнь - Д. В. Философов. Лежал Бунин (скоро ей прискутивший), и даже его жена (об уме которой М. Ф. Андреева, вторая жена Горького, однажды выразилась весьма неуважительно, но справедливо³). Лежали под микроскопом поэты Петербурга начала нашего столетия, и поэты парижской эмиграции. И страстно любопытствуя о человеке, она, с неостывающим пылом молодости (до 75 лет!), вкривь и вкось, часто неверно, часто предвзято, судила его и о нем, по принципу "кто не с нами, тот против нас".

А иногда она откладывала его куда-нибудь далеко от себя и объявляла: "я ничего не понимаю", не догадываясь, что в этом признании заключается нечто гораздо более серьезное, чем кокетливое, женское "ах, объясните мне пожалуйста!", что-то глубоко связанное с ее собственными необоримыми недостатками и ограничениями, с ее неполнотой и эгоцентризмом.

Но она знала всех, кто тогда был на верхах России, и не просто была знакома, а знала их годами, особенно тех, с кем у нее было хотя бы некоторое относительное единство идей. Вторая причина - вполне прозаическая: если мы взглянем на карту Петербурга, то мы увидим, что З. Н. и Д. С. жили рядом с Государственной Думой, и к ним доходило то, что делалось в центре России не по слухам, или на второй день, а так, как если бы они находились за кулисами сцены или может быть сидели в первом ряду театра. Сегодня Милюков говорит о Распутине, завтра Керенский требует политической амнистии, послезавтра левая часть депутатов предает гласности дело военного министра Сухомлина, а еще через год или два - с этой же трибуны объявляется отречение Николая II. Дом стоял на углу Сергиевской и Потемкинской, в окнах квартиры был виден купол Таврического дворца, гараж думских автомобилей был за углом, и у заседавших там денно (и нощно!) государственных людей не было другого пути из Таврического сада к Литейному и центру столицы, как Сергиевская улица (более долгий путь шел по Таврической улице к Суворовскому проспекту).

Третья причина лежала в З. Н. самой. Ее личность окрашивает каждую страницу дневника. В те годы даже прозорливые и мудрые люди еще не умели ни понимать самих себя, ни понимать других вокруг. Все приходились друг другу загадками, и люди посвящали иногда многие годы, чтобы отгадывать друг друга. Теперь мы знаем, что она из своих неврозов брала свою энергию, из своих неврозов делала свои стихи, писала свои дневники, и своими неврозами кормила свое мышление, делая свои мысли яркими, живыми и острыми не только благодаря их сути, на которой, как на драгоценном компосте, они вырастали и зрели, но и благодаря тому стилю, которым они облекались.

Но все то, что было результатом этой энергии и иногда сверкало и шипело как сноп электрических искр в ее писаниях, роковым образом несло в себе присущее всякому неврозу ограничение, которое так явственно видно на страницах дневника: невозможность, а может быть и нежелание собственной внутренней эволюции, неумение принять ее в других, отсутствие чувства перспективы, недостаток дисциплины в ограничении своих политических страсти, страх себя самой и своего свободного суждения, - она не видела себя и потому не могла бороться с этими слабостями. Впрочем, не сказала ли она однажды: "Люблю я себя, как бога"?

В дружбе она признавала только "глобальное" согласие, только "тоталитарный унисон", не знала, что такое "дружеский контрапункт" отношений. Раз и навсегда, еще в молодости, построив непроницаемую стену между сознанием и чувством, перевязав узлом нить, ведущую от "ума" к "сердцу", она только в редкие минуты слабости оплакивала свою раздвоенность. Приведу здесь первые и последние строки одного ее стихотворения:

Свяжу я узел нить
Меж сердцем и сознанием,
Хочу разъединить
Меня с моим страданьем.
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел.

Но было и другое: какая-то податливость на каждый непроверенный слух (например - о "китайском мясе"). Она видела все в преувеличенном объеме и связывала в одно - Ленина и каннибализм (она писала: Ленин-Ульянов и Троцкий-Бронштейн), Ллойд Джорджа и дьявола, издателя Гржебина и ворованные ценности Эрмитажа. И даже открытие Дома искусств (с помощью Горького), где писатели, и поэты, и художники могли наконец в 1920 г. обогреваться зимой, встречаться, говорить в чистых комнатах о стихах, есть пшенную кашу в елисевской кухне, было воспринято ею, как космическое (или всероссийское) безобразие, бесстыдство и мерзость. Что-то жестокое, викторианско-стародевическое, угрюмое звучит в ее возмущении тем фактом, что люди все еще (или опять) ходят в театр и "любуются Юрьевым" и "постановками Мейерхольда", и что кто-то с кем-то танцует фокстрот. И ее приводил в бешенство "марксистский мессианизм", потому что в ней самой глубоко дремала ее общая с Д. С. великоледожавность, презрение к инородцам, живущим на российской земле.

Позже это выветрилось из нее, и она даже стыдилась этих своих чувств. И она, и Д. С. никогда не забывали, что русская действительность XX века была результатом шести последних царствований и той культурно-политической реальности, которую эти царствования породили.

Но вернемся к "тоталитарному унисону". Он был у нее полностью с Д. С., который по существу был и терпимее, и спокойнее ее, но - и время это доказало - был и слабее, и элементарнее в своих неврозах. Две черты были характерны для него. Первое было - чувство вины, которое было и в других людях его поколения, а также и следующего, от древних старцев - Н. В. Чайковского, О. С. Минора, Ек. Брешковской, до младших депутатов в Учредительное собрание. Д. С. мучился вопросами: кто виноват в том, что произошло, могло ли все быть иначе, когда и кем была сделана ошибка? В. А. Маклаков говорил об этом открыто - спрашивал;

"торопились мы или опаздывали? Поздно было для реформ? рано для революции?" Д. С. никогда не забывал этих вопросов, он кричал о них, они постепенно стали невыносимы и, в конце концов, убили его.

Как человеку религиозному и всю жизнь имевшему сложные отношения с русской церковью (его хоронили по православному обряду, что тогда удивило многих), он не мог мириться с фактом, что русские всегда любили сектантов и поэтому "допустили Распутина", что и Бердяева, и Бонч-Бруевича тянуло к "изуверам", чермяковцам и щетининцам, а Щетинин сам был только неудачливый

Распутин, которого Бонч "хотел обработать на божественную социал-демократию". Он не мог принять факта, что петербургский митрополит Питирим был другом Распутина, и вместе с З. Н. боялся, что, если опять вернутся Романовы, вокруг царя "может заваться сильная черносотенная партия, подпираемая церковью".

Вторая черта была его пророческая сила, проявлявшаяся как в писаниях, так и в речах. Особенно она проявилась в "Царстве Антихриста", где он говорит об угрозе в будущем русского большевизма западному миру.

В наше время мы опять видим появление такого "особенного" человека и слышим его мировой голос. Он знает, что он видит будущее и уверен, что он один знает его. Мережковского сначала слушали тысячи, - пятьдесят лет его лучшие книги были в печати, переведенные на 14 языков от Португалии до Японии. Это были обе трилогии - "Воскресшие боги" и "Александр Первый и декабристы". Потом его стали читать сотни. Его перестают принимать и слушать короли, президенты республик, главы государств и римский папа. И в 1930-х г.г., в зале Лас-Каз, в Париже, рассчитанной на 160 слушателей, где обычно происходят русские собрания, рядом с церковью св. Клотильды, у метро Сольферино, на его вечер (лекцию) собирается сорок человек, почти все ему лично знакомы. И он, картавя, как Ленин, как Лев Толстой, как Николай II, вдохновенно пророчит, что они не только наша проблема, но они и ваша проблема, и через двадцать, через пятьдесят лет она встанет

перед вами.

К годам 1919-1920 Зинаида Николаевна возвращалась несколько раз: в "Возрождении" в декабре 1951 г. (№ 12) и в январе 1951 г. (№ 13) Злобин посмертно напечатал ее рассказ о Польше 1920 г., а в 1951 г. вышла ее посмертная книга "Дмитрий Мережковский", в которой говорится и о военных, и о революционных годах, и о раннем периоде эмиграции. Но это уже не ежедневная, взволнованная, живая речь о событиях, бегущих изо дня в день. Это воспоминания, сведение счетов, список обид. Что касается книги, то там не столько сказано о Д. С., сколько об их общей жизни. Книга обрывается на неконченном абзаце. Последние 15 страниц - бормотанье лунатика, потерявшего связь с действительностью. И речь З. Н. была оборвана смертью, она не рассчитала время, она слишком поздно принялась за книгу, которую давно собиралась написать, и "верные слова", за которые ее так когда-то ценил Брюсов, и которые всю жизнь шли к ней сами собой, теперь не давались ей.

И потому так важно новое издание ее живого, огненного дневника, ее "Синей книги", написанной в доме на Сергиевской. А все то, что было потом набросано, сказано, опубликовано, если и не ушло еще в небытие, то когда-нибудь уйдет под "крыло забвения", о котором она сама написала, не то страшась его, не то ища его, как всегда полная противоречий, как своих собственных, так и своего времени.

Принстон, 1980

Н. Берберова

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Александр А. Белич (1876-1960) сербский славист, языковед, президент сербской Академии Наук, позже (1947) почетный профессор Московского и др. университетов, видная фигура в послевоенной Югославии.

2 Здесь уместно коснуться М. И. Цветаевой и ее литературной судьбы в эмиграции, в нескольких строках напомнив ее взаимоотношения с "либерально-демократической" частью эмигрантской интеллигенции. Они были всегда натянуты. От П. Н. Милюкова (или даже от И. В. Гессена, редактора берлинского "Руля") до редакционной коллегии "Современных записок", людей коробило от ее увлечения "белой армией" и "героями белой борьбы". Страстное, бескомпромиссное увлечение это сделало невозможным для М. И. стать ни постоянной сотрудницей русской "демократической" прессы, ни создать дружеские отношения с редакторами этих изданий. Ее безапелляционное обоготворение "лебединого стана" и "русской Вандеи" поставило ее по другую сторону эмигрантской баррикады, туда, где печатались монархические листовки белградских реакционеров. Сама она поняла слишком поздно, что там, за чертой, где были ее "герои", ее никто не полюбит и даже никто не поймет, и что ее высокое искусство не дойдет до умов наиболее серого, заскорузлого и темного класса царской России.

3 З. Н. Гиппиус видимо ничего не знала о М. Ф. Андреевой: ни что она была членом РСДРП (б) с самого начала ее образования, ни что она была личным другом Ленина, ни что ее первый муж, отец ее детей, которого она бросила ради Горького, был тайный советник Желябужский, крупный чиновник одного из министерств в Петербурге.

ИНИЦИАЛЫ В ТЕКСТЕ

(Синяя книга, страницы оригинала 1929)

Т. - Тата, Татьяна Николаевна Гиппиус, сестра З. Н.

К. Р. - вел. кн. Константин Константинович Романов.

М. - Иван Иванович Манухин, доктор.

Д. В. Дима - Дмитрий Владимирович Философов.

И. Г. - Иосиф Владимирович Гессен, кадет, редактор газеты "Речь".

Ч. - Чхенкели, соц.-демократ, член Гос. Думы.

Х. - Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков).

Ел. - жена Савинкова, Елена, (предположительно)

Л. - Евгений Ал. Ляцкий, литератор.

К. К. С. - Керенский, Корнилов, Савинков.

Х. - видимо тоже доктор Манухин, на этот раз только.

(Черная книжка)

И. И. - доктор Манухин.

Н. В. - Натаан Венгров.

З. - Владимир Ананьевич Злобин, секретарь Мережковских.

Т. - Татьяна Николаевна Гиппиус.

Д-ский - Добужинский, М. В.

А-ский - Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков.

Х. - не Фондаминский, который в это время уже был на юге.

Р. - Н. А. Розанель, актриса.

Вера Гл. - Вера Глебовна Савинкова, вторая жена (?) Савинкова.

Т. - Варвара Васильевна Тихонова, жена А. Н. Тихонова.

Комиссар К. - Борис Гитманович Каплун, брат издателя Сумского.

А. В. - Александр Введенский, священник "обновленной" церкви.

История моего Дневника

"Черная книжка" - лишь сотая часть моего "Петербургского Дневника", моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявления войны. Я скажу далее, какая судьба постигла две толстые книги этой записи, доведенной до февраля-марта 1919 года. Сейчас отмечаю лишь то обстоятельство, что их у меня нет. И я должна сказать о них несколько слов прежде, чем дать текст записи последней, касающейся второй половины 1919 года. Правда, этот последний дневник написан несколько иначе, отрывочнее, короткими отметками, иногда без чисел. Но все-таки он - продолжение, и без фактических ссылок на первые тетради он будет непонятен даже внешне.

Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковского, и наше положение, в общем, были благоприятны для ведения подобных записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали к тому широкому кругу русской "интеллигенции", которую, справедливо или нет, называли "совестью и разумом" России. Она же - и это уже конечно справедливо - была единственным "словом" и "голосом" России, немой, притайно-молчащей - самодержавной. После неудавшейся революции 1905 года неудавшейся потому, что самодержавие осталось, - интеллигенция если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласиями, она, однако, была объединена общим политическим, очень важным отрицанием: отрицанием самодержавного режима. Русская интеллигенция, - это класс или круг, или слой (все слова не точны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия. Слой, по сравнению со всей толщей громадной России, очень тонкий; но лишь в нем совершалась кое-какая культурная работа. И он сыграл свою, очень серьезную историческую роль. Я не буду ее определять, я не сужу сейчас русскую интеллигенцию, я просто о ней рассказываю.

Разделения на профессиональные круги в Петербурге почти не было. Деятели самых различных поприщ, - ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, - все они так или иначе оказывались причастными политике. Политика, - условия самодержавного режима, - была нашим первым жизненным интересом, ибо каждый русский культурный человек, с какой бы стороны он не подходил к жизни, - и хотел того или не хотел, - непременно сталкивался с политическим вопросом.

Когда после 1905 года появился призрак общегосударственной работы, создалась Дума, - и народились так называемые "политические деятели", - эта специализация ничего, в сущности, не изменила. Только усилилась партийность; но самый видный "политический деятель" оставался тем же интеллигентом, в том же кругу, а колесо его чисто-государственной, политической деятельности вертелось в пустоте. Прибавился только некоторый самообман, - а он был даже вреден.

Не всякий интеллигент, конечно, принадлежал фактически к той или другой партии; но все в них разбирались, и почти каждый сочувствовал какой-нибудь одной более, чем остальным. Междупартийная борьба не прекращалась; но так как при данных условиях она принимала довольно отвлеченные формы, и так как все партии сходились на ненависти к самодержавию, то русские круги интеллигенции, даже не центральные, были в постоянном соприкосновении.

Мы, т.е. я, Мережковский и Философов, а также некоторые друзья наши, склонялись, как писатели, к идеям сторонам общественного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко